

**Люций Апулей**

**Флориды**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
А78

А78 **Апулей Л.**  
Флориды / Люций Апулей – М.: Книга по Требованию, 2012. – 62 с.

**ISBN 978-5-4241-3241-4**

Значительный интерес для филолога и историка представляет сборник «Флориды». Предполагают, что первоначально он был значительно больше и состоял только из целых речей; впоследствии же какой-то поклонник таланта Апулея выбрал из этих речей наиболее понравившиеся ему места. Принцип отбора был, повидимому, чисто стилистическим, так как никакой смысловой связи между отрывками нет; мало того, иные из них не содержат даже законченной мысли и обрываются на полуслове. То, что объединяет их все, – это лишь поразительная изощренность и отточенность стиля. «Флориды» – зеркало общественных и литературных нравов той эпохи, ее идей, настроения и радостей.

**ISBN 978-5-4241-3241-4**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Апулей  
Флориды



# I.

Вошло в обычай у благочестивых путников: если попадется им на пути какая-нибудь роща или иное какое-нибудь место, богам посвященное, загадывают они заветные желания, плоды пред святынею возлагают, присаживаются ненадолго <sup>1</sup>. Вот так же и я, хотя и очень спешу, все же, вступив в пределы этого высоко почитаемого города <sup>2</sup>, должен раньше всего постараться снискать ваше благоволение, выступить с речью, обуздать свою поспешность. В самом деле, ведь это дает путнику не менее основательный повод для благочестивой остановки, чем алтарь, цветами увитый, пещера, тенистою сенью листвы укрытая, дуб, рогами увешанный <sup>3</sup>, бук, мехами увенчанный <sup>4</sup>; или, например, чем холмик, в дар боже-ству принесенный и оградю обнесенный, или пень с вырезанным на нем изображением, или орошенный возлиянием дерн <sup>5</sup>, или камень, благовонного мазью умащенный <sup>6</sup>. Как все это, право же, незначительно! Лишь немногие проявляют интерес к таким святыням и поклоняются им, а люди неосведомленные равнодушно проходят мимо.

## II.

Но Сократ, мой великий предшественник <sup>7</sup>, придерживался совсем другого мнения. Как-то раз он довольно долго глядел на красивого юношу, все время хранившего молчание, и, наконец, попросил его: «Теперь, чтобы я мог тебя увидеть, скажи что-нибудь». Стало быть, если человек молчал, Сократ его не видел. Это и понятно: ведь он считал, что когда рассматриваешь человека, следует полагаться на взор души, на остроту разума, а не глаза. В этом вопросе он расходится с солдатом у Плавта, который говорит так:

Двум глазам скорей поверим мы, чем двадцати ушам <sup>8</sup>.

Мало того, Сократ даже вывернул этот стих наизнанку <sup>9</sup>, применив его к изучению людей:

Двум ушам скорей поверим мы, чем двадцати глазам.

Впрочем, если бы показания глаз имели большую силу, чем свидетельства разума, то пальму первенства в мудрости пришлось бы присудить, несомненно, орлу. И в самом деле, мы, люди, не в состоянии различить глазами ни того, что находится слишком далеко, ни того, что совсем близко – все мы, в какой-то мере, страдаем слепотою; и если принимать в расчет только наши глаза и это земное, слабое зрение, то, разумеется, трижды прав великий поэт, говоря, что какое-то подобие облака разлито у нас перед глазами и мы различаем не дальше, чем на расстояние полета камня <sup>10</sup>. А вот орел, когда подымется на страшную высоту, до самых облаков, и крылья пронесут его сквозь все то пространство, где идет дождь и падает снег, к тому пределу, за которым нет уже ни молнии, ни грома, к самому, если можно так выразиться, подножию эфира и вершине бурь; – когда, повторяю, достигнет орел такой высоты, то слегка наклоняет могучее тело и начинает плавно скользить то вправо, то влево, обращая паруса своих крыльев куда заблагорассудится, а хвост служит ему маленьким кормилом. Затем, окидывая взором все, что простирается внизу, он замедляет на мгновение свой полет и, паря почти неподвижно на распростертых крыльях, подобных не знающим усталости веслам, осматривается кругом, отыскивая, куда бы лучше всего обрушиться ему с высоты, чтобы с быстротою молнии настичь добычу. Со своего места в небе он видит сразу и стада в полях, и зверей в горах, и людей в городах, и всех держит под угрозой нападения, о которой никто не подозревает. Он ждет лишь удобной минуты, чтобы пронзить клювом, схватить когтями ягненка беспечного или зайчика трусливого, или любое другое живое существо, которое пошлет ему случай на пожрание или растерзание.

### Ш.

Гианнис, как рассказывают, был отцом и учителем флейтиста Марсия. В тот, не ведавший еще музыки век, он первый, раньше всех других начал исполнять различные мелодии, хотя, конечно, звуки, которые он извлекал из своего инструмента, не были столь трогательными, лады столь разнообразными, а отверстия флейты столь многочисленными, как теперь: ведь искусство это в те времена было новым открытием и едва-едва успело появиться на свет. Нет в мире ничего, что могло бы достичь совершенства уже в зародыше, напротив, почти во всяком явлении сначала – надежды робкая простота, потом уж – осуществления бесспорная полнота. Так вот, до Гианниса большинство людей знали толк в музыке ничуть не больше, чем овчар или волопас у Вергилия:

Дудкой скрипучей своей губили несчастные песни <sup>11</sup>,

А если кто-нибудь и достигал, как казалось тогда, несколько больших успехов в этом искусстве, все же и он продолжал придерживаться обычая и играл на одной флейте или на одной трубе. Гианнис был первым, кто развел в стороны руки во время игры, первым, кто одним дыханием оживил сразу две флейты, первым, кто, воспользовавшись отверстиями слева и справа, смешал высокие звуки и низкие тона, создав стройную гармонию <sup>12</sup>.

Сын его Марсий, хоть и пошел по стопам отца и мастерски играл на флейте, оставался все же варваром-фригийцем: смотрит диким зверем, свирепый, косматый, борода в грязи, весь оброс шерстью и щетиной. И говорят, что этот самый Марсий (страшно вымолвить!) состязался с Аполлоном: омерзительное уродство – с совершенною красотой, невежество – с ученостью, чудовище – с богом! Судьями, шутки ради, были Музы и Минерва <sup>13</sup>; впрочем, они хотели не только посмеяться над варварством этого уродца, но и наказывать его тупость. Однако Марсий не понимал, что над ним издеваются (самое убедительное доказательство глупости!), и прежде чем начать дуть в свою флейту, принялся на варварский лад нести какой-то вздор о себе самом и об Аполлоне. Себя он превозносил до небес – и свои откинутые назад волосы, и нерасчесанную бороду, и косматую грудь, и искусство флейтиста, и удел нищего. Аполлона же (смешно сказать!) порицал, ставя ему в вину противоположные качества: Аполлон, де, и волос не подстригает, и щеки у него нежные, и тело безволосое, и опытен он не в одном, а во многих искусствах, и удел его – удел богача. «Во-первых, – сказал Марсий, – волосы у него прядями ниспадают на лоб и локонами спускаются по вискам, все тело такое нежное, члены округлые, язык предсказывает грядущее и с одинаковым красноречием вещает и прозой и стихами. А одежда его! – тонко вытканная, на ощупь мягкая, пурпуром сверкающая! А лира, что золотом пламенеет, слоновою костью белеет, драгоценными камнями играет! А его звонкое пение, такое мастерское и прекрасное! Вся эта роскошь, – продолжал он, – добродетели никак не украшает, но служит спутницей изнеженности». Своим же телом Марсий, напротив, хвастался, не зная меры, и называл себя высшим образцом красоты.

Засмеялись Музы, когда узнали, в чем упрекает Аполлона Марсий, – ведь упреки такого рода мудрец мечтает услышать, – и флейтиста этого, потерпевшего поражение в состязании, освежавали, словно медведя какого-нибудь двуногого, да так и бросили – с обнаженным и висящим клочьями мясом <sup>14</sup>. Вот как

Марсий играл и доигрался до казни. Впрочем, Аполлон стыдился, разумеется, столь ничтожной победы.

## IV.

Жил когда-то флейтист по имени Антигенид <sup>15</sup>. Сладостен был каждый звук в игре этого музыканта, все лады были знакомы ему, и он мог бы воссоздать для тебя, по твоему выбору, и простоту эолийского лада, и богатство ионийского, и грусть лидийского, и приподнятость фригийского и воинственность дорийского. И вот, по словам этого флейтиста, который был столь знаменит своим искусством, ничто его так не оскорбляло, ничто не угнетало так его душу и разум, как мысль, что похоронных трубачей называют флейтистами. Впрочем, он стал бы спокойно относиться к этой общности имен, если бы взглянул на выступление мимов <sup>16</sup>; он обнаружил бы, что одни из них занимают почетные места, а другие, хоть и одеты в пурпур, почти так же точно, как первые, получают удары. И то же самое заметил бы он, если бы побывал на наших гладиаторских играх: ведь и здесь он увидел бы, как один человек сидит на почетном месте, а другой бьется насмерть. Да вот и тога – ее увидишь и на свадьбе, и на похоронах; и плащ – он окутывает трупы <sup>17</sup> и служит одеждой философу.

## V.

Да, похвальное усердие привело вас в театр! Ведь вы знаете, что место не в состоянии лишить речь ее значительности, но, напротив, прежде всего следует обращать внимание на то, что предстает твоему взору в театре. И в самом деле, если это мим, ты посмеешься, канатоходец – замрешь от страха, комедия – похлопаешь, философ – поучишься.

## VI.

Индусы – многочисленный народ, насчитывающий огромное количество людей и занимающий огромное пространство. Живут они далеко к востоку от нас, в тех краях, где изгибается берег Океана и восходит солнце, там, где рождаются звезды и кончается земля, дальше, чем египтяне ученые, иудеи суеверные, набатеи<sup>18</sup>-торговцы, дальше арсакидов<sup>19</sup> в развевающихся одеждах и бедных плодами итиреев<sup>20</sup>, и богатых благовониями арабов. У этих-то вот, повторяю, индусов больше всего восхищают меня не горы слоновой кости, не сборы перца, не караваны киннамона<sup>21</sup>, не закалка стали, не серебряные рудники, не золотые потоки; не то, что их Ганг – величайшая из всех рек:

Вод повелитель восточных, на сто рукавов разделяясь, Сто образует долин плодородных, сто устьев широких И с Океаном шумящим сливается сотней потоков; не то, что, хотя живут индусы в самом царстве утренней зари, кожа их напоминает ночь своим цветом; не то, что огромные драконы у них вступают в бой с чудовищными слонами – битва, одинаково опасная для обоих и обоим несущая гибель. И в самом деле, дракон, поймав противника в свои гибкие кольца, сковывает его, так что слон, который не в силах и шагу ступить или вообще как-то разорвать свои цепкие чешуйчатые змеиные путы, не видя никакого иного пути к мщению, падает и всю тяжесть своего тела раздавливает врага, захватившего его в плен<sup>22</sup>.

Разнообразны и жители Индии (мне приятнее говорить о диковинных людях, чем о диковинах природы!). Есть среди них порода людей, которые умеют только коров пасти и ничего больше; потому и прозвище у них – волопасы. Есть и такие, что искусно товары обменивают, и такие, что смело бросаются в сражение, ведя бой и на расстоянии – стрелами, и врукопашную – мечами. Есть у них, кроме того, одна замечательная порода людей, называются они гимнософистами<sup>23</sup>. Ими-то и я восхищаюсь больше всего. Нет у них опыта ни в разведении винограда, ни в прививании деревьев, ни в обработке земли; не умеют они поля возделывать, золото мыть, коней укрощать, быков смирять, ни стричь или пасти овец или коз. Так что же они умеют? Взамен всего этого – лишь одно: почитают и умножают мудрость, все – как престарелые наставники, так и юные ученики. И ничто, по-моему, не заслуживает у них большей похвалы, чем отвращение к косности духа и безделию. Поэтому, когда стол уже накрыт, но кушанья еще не поданы, все молодые люди оставляют каждый свое занятие и сходятся со всех сторон к трапезе, а наставники принимаются расспрашивать их, что хорошего совершили они в этот день со времени восхода солнца. Тут один рассказывает, что, избранный третейским судьей, он погасил вражду, восстановил согласие, рассеял подозрения и сделал врагов друзьями; другой – что подчинился какому-то приказанию родителей; третий – что пришел к некоторому заключению, размышляя сам или услышав чужое объяснение. И так каждый рассказывает свою историю. Того, кто не может привести никаких оснований, дающих право на обед, выгоняют вон голодным и возвращают к трудам.

## VII.

Знаменитый Александр, несомненно, величайший из всех царей, был прозван за свои подвиги и завоевания Великим – для того, чтобы никогда не упоминался без похвалы муж, стяжавший беспримерную славу. И правда, ведь с самого начала времен он остается на памяти человечества единственным, кто, покорив своей неодолимой власти целый мир, встал выше собственной судьбы, величие щедрот которой было следствием его энергии, равно его заслугам и осталось позади в сравнении с его величием; единственным, чья блистательная слава до того не знакома с соперничеством, что никто не осмеливается и мечтать о его доблести, ни желать для себя его судьбы. Этот Александр совершил множество возвышенных дел и прекрасных поступков, устаешь восхищаться и его смелостью на войне, и его мудрою прозорливостью в мирное время – каждым из тех случаев, которые прославил в своей прелестной поэме мой Клемент, самый ученый и самый приятный из поэтов<sup>24</sup>.

Но вот одно из самых замечательных деяний Александра: стремясь оставить потомкам как можно более точное свое изображение, он не пожелал, чтобы множество художников публично искажали его облик. Поэтому он издал указ, запрещающий кому бы то ни было в подвластном ему мире создавать по собственному желанию изображения царя в бронзе, в красках или в рельефе: только Поликлет<sup>25</sup> получал право отливать их из бронзы, только Апеллес<sup>26</sup> – писать красками, только Пирготель<sup>27</sup> – вырезать в рельефе. Если же найдется кто-нибудь иной – помимо этих троих самых знаменитых в своем искусстве мастеров, – кто протянет руку к священнейшему образу царя, того достигнет кара такая же точно, как за святотатство. И вот всеобщий страх этот стал причиной того, что только один Александр запечатлен с полнейшим сходством на всех изображениях: каждая статуя, картина, рельеф передает одну и ту же энергию неутомимого воителя, тот же гений величайшего государственного мужа, ту же прелесть цветущей юности, то же благородство открытого лба.

О, если бы и в философии подобным же образом имел силу указ, запрещающий первому встречному посягать на ее подобие! Указ, предписывающий, чтобы лишь немногочисленные славные мастера, подлинники знатоки своего искусства, подвергали всестороннему рассмотрению проблемы мудрости, а люди грубые, нечистоплотные, необразованные не смели бы подражать философам, у которых они не заимствуют ничего, кроме плаща<sup>28</sup>, и не искажали бы облика царственной науки, созданной для обучения как славным речам, так и славной жизни, своими скверными речами и ничуть не лучшею жизнью. И то, и другое, разумеется, – дело совсем не хитрое. И действительно, найдется ли что-нибудь более простое, чем сочетание несдержанности языка с низостью нравов (первая – следствие презрения к другим, вторая – к самому себе)? Ведь собственная нравственная нечистоплотность – это знак презрения к самому себе, а грубые нападки на других – оскорбление слушателей. Разве не наносит вам величайшего оскорбления тот, кто считает, будто вам доставляет удовольствие слушать, как поливают грязью любого из порядочных людей, кто полагает, будто вы не понимаете скверных и порочных слов, а если и понимаете, то соглашаетесь с ними? Какой грубиян, какой носильщик или кабатчик, приди ему в голову мысль надеть на